

ГІАЮТА

ПРИЯТНО
ПОЗНАКОМИТЬСЯ,
ГРУП



Таюта

Приятно познакомиться, Труп

«Автор»

2026

Таюта

Приятно познакомиться, Труп / Таюта — «Автор», 2026

Три дня. Трое братьев. Одна тайна, способная уничтожить целый род. В Зимнем дворце убиты курьеры императора. Убийца — вампир. Подозрение падает на род Волконских, веками служащих короне из тени. Алексей, его кузен Дмитрий и младший брат Игорь должны найти преступника, пока император не объявил охоту на них самих. Но улики ведут в прошлое их собственной семьи. В заброшенные особняки Москвы, в катакомбы под Петербургом, в тайны, которые приказали забыть много лет назад. А часы уже тикают. И пока братья идут по следу, кто-то невидимый ведёт собственную игру, где они — всего лишь пешки. Для тех, кто любит: стремительный сюжет, вампирские интриги в декорациях Российской империи, живые диалоги, где сарказм мешается с нежностью, и мрачную эстетику, где свечи гаснут не сами собой. Эта книга — коктейль из детектива, тёмного фэнтези и семейной драмы. Пейте осторожно: он горчит.

© Таюта, 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 Бал у смерти	5
Глава 2 Немая симфония	10
Глава 3 Граф и Глина	18
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Таюта

Приятно познакомиться, Труп

Глава 1 Бал у смерти

Начинается всё, как обычно, с дурных вестей.

Гонец прибывает в сумерках — тех особых декабрьских сумерках, когда небо над Петербургом цвета разбавленных чернил, а снег лежит на крышах, как старая пыль на плечах вдовы. Я как раз собирался провести вечер за книгой. У меня их много — книг, не вечеров. А вечеров у меня, строго говоря, бесконечно много, и это давно перестало быть преимуществом.

Поместье матушки стоит в стороне от больших дорог, в лесу, который на картах обозначен как «казённый», а на деле — ничейный. Двухэтажный особняк елизаветинской постройки, с облупившейся лепниной и колоннами, которые помнят ещё Анну Иоанновну. Мы не жалуем гостей. Соседи думают, что здесь живёт старый князь с причудами — то ли сумасшедший, то ли прокажённый. Соседи, в общем-то, недалеко от истины.

Я сидел в библиотеке — моя любимая комната во всём доме. Высокие, до потолка, стеллажи из красного дерева, потемневшего от времени. Книги на французском, немецком, латыни. Пара фолиантов на греческом, которые я не открывал уже лет сорок. Камин. Кресло с протёртой обивкой. Тишина — та самая, глубокая, которую может дать только старый дом зимой, когда снег глушит все звуки, а прислуга давно распущена по комнатам.

Я перевернул страницу — что-то из Байрона, кажется, «Гяур», я перечитывал его в третий раз за столетие, — когда в дверь постучали. Странное дело — бессмертие. У тебя впереди вечность, а ты перечитываешь одну и ту же книгу, словно надеешься найти в ней то, что пропустил в прошлый раз. Может быть, себя.

Стук был нерешительный. Человеческий. Так стучат слуги, которые боятся потревожить, но обязаны.

— Войдите.

Дверь приоткрылась. На пороге стоял Ефим — наш старший лакей, сутулый мужчина лет шестидесяти, который служил ещё покойному князю Волконскому, моему отцу. Он был из тех редких смертных, кто знал о нас правду, но предпочитал не думать об этом лишней раз. Жалование хорошее, работа непыльная, а что хозяйева кровь пьют — так у каждого свои недостатки.

— Ваше сиятельство, — он кашлянул в кулак. — Гонец от Её Сиятельства.

Я отложил книгу.

— От матушки?

— Так точно. Ждёт в передней.

Я поднялся. Байрон подождёт — он мёртв, ему не к спеху.

В передней было холодно. Свечи на консолях давали неровный, дрожащий свет, от которого тени на стенах шевелились, как живые. Наше поместье вообще богато тенями — то ли архитектура такая, то ли мы сами их притягиваем.

Гонец стоял у двери, не решаясь пройти дальше. Молодой парень в тёмном сюртуке без гербов — матушка не любила лишнюю символику. Он мял в руках шапку, и я слышал, как колотится его сердце — быстро, испуганно. От него пахло лошадиным потом, морозом и страхом.

— Князь Алексей Сергеевич? — спросил он, хотя явно знал ответ.

— Допустим.

— Её Сиятельство Елизавета Алексеевна велела передать — он запнулся, сглотнул, — велела прибыть немедленно. В Большой дом. По делу государственной важности.

Большой дом — так мы называли главное поместье рода. Мраморный дворец, как его окрестили в округе, хотя мрамора там было меньше, чем амбиций. Матушка редко вызывала нас туда. Ещё реже — «немедленно» и «по делу государственной важности».

— Что-то ещё?

— Велено передать: «Пусть оба будут. И пусть поторопятся». Оба. Значит, Дмитрия тоже вызывают.

— Ступай на кухню, — сказал я. — Ефим распорядится, чтобы тебя покормили. И скажи конюху — пусть готовит карету.

Гонец поклонился и исчез за дверью с явным облегчением. Я остался в передней, глядя на своё отражение в мутном зеркале над консолью. Из зеркала на меня смотрел человек, которому на вид было лет тридцать — может, чуть больше. Тёмные волосы, зачёсанные назад. Бледное лицо с острыми скулами. Серые глаза — слишком светлые для живого. Я поправил воротник сюртука, одёрнул манжеты. Привычка. Я иногда думаю: а что, если однажды зеркало покажет мне не лицо, а то, что под ним? Не кости — кости у меня такие же. А тишину. Пустоту, которая заполняет тебя, когда ты живёшь слишком долго и уже не помнишь вкуса хлеба.

Значит, Дмитрий... Я поймал себя на мысли, что при упоминании его имени внутри что-то дрогнуло. Не тревога — скорее предвкушение. Мы не виделись несколько недель, и я вдруг понял, что скучал по звону его шпор и этим бесконечным насмешкам. С ним даже дурные вести становятся терпимее.

Дорога до Мраморного дворца занимает часа два — если ехать через лес, не жалея лошадей. Мы не жалели.

Карета была старой, ещё екатерининской постройки: высокие колёса, кожаная обивка, никаких гербов на дверцах. Матушка предпочитала, чтобы мы передвигались незаметно.

«Меньше глаз — меньше вопросов» — говорила она, и в этом была вся наша семейная философия.

За окном проплывал зимний лес. Чёрные стволы сосен, припорошённые снегом. Иногда — просветы, где луна выплёскивала на дорогу холодный, мёртвый свет. Я смотрел на этот пейзаж, не видя его. Думал о матушке.

Елизавета Алексеевна Волконская — глава рода, старейшая из известных нам вампиров империи. Сколько ей лет на самом деле, не знал никто — даже она сама, подозреваю. Она пережила трёх императоров, две войны и один дворцовый переворот. Бессчётное количество собственных мужей она хоронила с завидной регулярностью, каждый раз выдерживая траур ровно настолько, чтобы не вызвать пересудов.

Она обратила каждого из нас. Тринадцать детей — тринадцать вампиров. Мы были её родом, её армией, её тенью. Мы служили короне — негласно, неофициально. Разбирались с делами, которые нельзя доверить обычной полиции. Делами, в которых пахло не только кровью, но и чем-то похуже. И вот теперь — вызов. Немедленно.

Карета качнулась на ухабе. Я придержался за поручень.

— Барин, — донеслось с козел, — подъезжаем.

Мраморный дворец вынырнул из темноты, как белый кит из чёрной воды. Он стоял на холме, окружённый старым парком, и светился окнами — редкими, тусклыми, но достаточными, чтобы понять: нас ждут. Фасад с колоннами, широкая лестница, два флигеля, расходящиеся в стороны, как крылья хищной птицы. Мрамор здесь действительно был — серый, с розоватыми прожилками, ещё прадедом привезённый из Италии. Он потемнел от времени, пошёл трещинами, но держался.

Карета остановилась у парадного подъезда. Кучер слез с козел, открыл дверцу. Я вышел, вдыхая морозный воздух — влажный, с привкусом хвои и далёкого дыма.

Лакеев не было. Матушка, как обычно, не выставила прислугу — «меньше глаз». Я поднялся по ступеням, толкнул тяжёлую дверь.

Внутри пахло воском и ладаном. И ещё чем-то — с особым, сухим оттенком, который бывает только в домах, где живут очень старые существа. Не пылью — временем.

— Алексей Сергеевич.

Я обернулся. Из тени колонны выступил слуга — старый Фёдор, матушкин мажордом. Лицо его напоминало пергамент, натянутый на череп. Но держался он прямо, с той особой выучкой, которую даёт только многолетняя служба у женщины, не прощающей ошибок.

— Её Сиятельство ожидает вас в малой гостиной, — сказал он. — Князь Дмитрий Николаевич уже прибыл.

— Опаздываю?

— Вы пунктуальны, как всегда.

Это не было комплиментом. Фёдор вообще редко говорил комплименты.

Малая гостиная находилась на втором этаже, в восточном крыле. Я шёл по коридору — длинному, тёмному, с рядом дверей по обе стороны. Стены обиты штофом — тёмно-бордовым, почти чёрным в этом освещении. Портреты. Предки Волконских смотрели на меня с полотен — старые князья в париках, княгини в жемчугах. Все — люди, ни одного вампира. Матушка велела повесить их здесь не из пиетета перед родом, а из практических соображений: если кто-то чужой попадёт в дом, пусть видит то, что ожидает увидеть.

В конце коридора — дверь, обитая малиновым сукном. Я толкнул её.

Малая гостиная была освещена одинокой масляной лампой на каминной полке. Пламя дрожало, и тени в углах комнаты шевелились, как живые. Обстановка — старая, ещё александровских времён: кушетка с вытертой обивкой, два кресла у камина, секретер с откинутой крышкой, за которым матушка обычно писала письма. На стенах — тёмные обои с выцветшим золотым узором. В углу — часы в футляре из красного дерева, которые молчали уже сто лет. Их никто не заводил, но иногда, говорят, они начинали бить сами — в те ночи, когда в роду кто-то умирал.

Матушка сидела в кресле у камина. При моём появлении она не повернула головы — только повела рукой, указывая на кресло напротив.

— Садись, Алексей.

Голос у неё был низкий, с хрипотцой, как у певицы, которая слишком много курила. Но матушка не пела и не курила. Она просто была очень, очень старой.

Я сел. Посмотрел на неё.

Елизавета Алексеевна Волконская выглядела лет на сорок пять — по человеческим меркам. Высокая, прямая, с той особенной осанкой, которую даёт либо многолетняя выправка, либо абсолютная уверенность в своей власти. У неё было узкое лицо с резкими чертами — такие лица любили рисовать на миниатюрах в конце прошлого века. Тёмные с проседью волосы убраны в строгий пучок. Тёмно-синее, почти чёрное закрытое платье без украшений, если не считать одну брошь на воротнике: серебряный паук с крошечным рубином на брюшке.

Она не выглядела опасной. Она выглядела усталой — но это была та усталость, которая опаснее любой ярости. Усталость человека, который видел всё и которого больше ничем не удивить.

— Ты приехал быстро, — сказала она.

— Вы велели не медлить.

— Я ценю послушание. Редкая добродетель.

В комнате стало тихо. Матушка молча смотрела на огонь. Я молчал. Я знал: если она захочет что-то сказать — скажет. Торопить её было бесполезно, а иногда и опасно.

— Дело государственной важности, — произнесла она наконец, не глядя на меня. — Сегодня ночью в Зимнем дворце нашли три тела. Посыльные Его Величества. Убиты. Высушены. Способом, который тебе знаком.

Я чуть наклонил голову:

— Укусы?

— Укусы. Мелкие, множественные. Не наши, — она сделала паузу. — Или наши, но очень старые.

— Старые настолько, что вы чувствуете их возраст, матушка?

Она усмехнулась — сухо, одними уголками губ.

— Ты всегда задаёшь правильные вопросы, Алексей. И именно поэтому ты мне нужен.

Она повернулась ко мне. Её глаза — тёмные, почти чёрные, с тем особенным блеском, который бывает только у очень старых существ, — встретились с моими.

— Император вызвал нас. Тебя и Дмитрия. Он хочет, чтобы мы разобрались. И он дал на это три дня.

— Щедро.

— Не дерзи.

Я склонил голову:

— Простите, матушка.

— Ты никогда не просишь прощения искренне. В этом ты весь, — она на мгновение замолчала. — Император напуган. И у него есть причины. Кто-то убивает его людей в его собственном дворце. Это оскорбление. И вызов.

— Вызов кому?

— Нам, — она посмотрела на меня тяжело. — В империи нет других родов, Алексей. Есть только мы. Если кто-то делает нашу работу, не спросив нашего разрешения, — это вызов роду. Вызов мне.

Я промолчал. В камине трещали дрова, и этот звук заполнял паузу.

— Я не прощаю неудач, — сказала матушка тихо. — Ты знаешь.

— Знаю.

— Три дня. Через три дня ты либо принесёшь мне голову того, кто это сделал, либо — она не закончила.

Мы оба понимали, что значит это «либо».

Я поднялся. Поклонился — сдержанно, ровно настолько, насколько требовал этикет.

— Я вас понял.

— Не сомневаюсь. И вот ещё что, Алексей.

Я замер у двери.

— Дело может быть связано с тем, что было пять лет назад. В Москве. Ты помнишь. Это не вопрос.

— Помню, — сказал я.

— Тогда иди. И будь осторожен, — она снова отвернулась к огню. — Ты мне нужен. Вы оба.

Я вышел. Дверь закрылась за мной с мягким, почти неслышным стуком.

В коридоре было темно, но я не нуждался в свете. Я прошёл несколько шагов, прежде чем заметил движение у колонны. Дмитрий.

Он стоял, прислонившись спиной к мраморной стене, скрестив руки на груди. Фрак ещё не надел — был в своём обычном, чуть небрежном гусарском сюртуке, распахнутом на груди, и в высоких сапогах со шпорами. Изо рта торчала пустая трубка — он не курил, просто держал её в зубах, как старую привычку, от которой не хотел отказываться.

— Слышал, что матушка велела? — спросил я. — Неужто я увижу дорогого братца вне этих расфуфыренных тканей?

В свете редких свечей его лицо казалось восковым — только глаза горели тем самым голодным, весёлым огнём. Шпоры мелодично звякнули, когда он переступил с ноги на ногу, и этот звук — серебряный, лёгкий — словно говорил: «Я здесь, и мне плевать, что вы об этом думаете».

— Ах, mon cher, — он вынул пустую трубку изо рта и жестикулировал ею, как дирижёрской палочкой. — Ты хочешь, чтобы я надел фрак? Стоял с тобой рядом — два чёрных ворона на балу у смерти? Скука, Алексей. Императору плевать, во что мы одеты, пока мы не кусаем его гвардейцев.

Он сделал шаг ко мне и чуть наклонил голову.

— Но раз матушка велела — театрально вздохнул. — Ради твоего эстетического страдания я, так и быть, надену чёрное. Только попрошу портного пришить шпоры. Не могу без звона, понимаешь? Это моё «аминь».

Он хлопнул меня по плечу — сильнее, чем следовало бы человеку. Я не вздрогнул. Привык.

— Кстати. Ты заметил, как она сказала «не прощаю неудач»? Не «вас убьют», не «казнит». Именно — не прощаю. Будто мы уже трупы. Ах да, — усмехнулся, — мы и есть трупы.

Дима отошёл на два шага, разглядывая меня с головы до ног. Его лицо — маска веселья, но я знал эту маску. Она всегда появлялась, когда он нервничал.

— Ты хоть ел сегодня? Или опять корчишь из себя страдающего байрониста? Смотреть тошно. В Зимнем нам нужны зубы, братец, а не элегии.

Он протянул руку ладонью вверх — не то чтобы помочь, не то чтобы попросить что-то.

— Ну что, философ, поедем смотреть на трупы и делать вид, что нам не всё равно?

Я демонстративно, по-театральному закатил глаза и пошёл в сторону своей комнаты. В поместье матушки для каждого есть место — своё крыло, своя спальня, свой гроб, если угодно. Хотя я давно сплю в обычной постели — привычка.

— Встретимся через час.

С этими словами мы разошлись. Коридор тонул в тишине. Мои шаги — лёгкие, почти неслышные — уходили вправо, к восточному крылу. Я слышал, как Дима остаётся у колонны, смотрит вслед.

— Через час, — повторил он тихо. — Смотри не зачитайся там, Байрон наш доморощенный.

Он щёлкнул невидимую пылинку с рукава и ушёл в противоположную сторону — с запахом кожи, табака и того особого гусарства, которое уже сто лет как не носят, но которое отказывается умирать.

Я шёл по коридору, и мои мысли были тяжелы, как намокший бархат. Три дня. Три тела. И что-то из Москвы, что матушка велела забыть пять лет назад, но, видимо, не забыла сама.

В конце коридора — окно. Я остановился, глядя в темноту. Там, за стеклом, снег шёл крупными хлопьями — бесшумный, неотвратимый, как время. Петербург спал. Или делал вид, что спит.

Где-то в этом городе некто убивал людей моим способом. Оставлял за собой высушенные тела и улыбки на мёртвых лицах.

Час. У меня был час, чтобы собраться, переодеться и привести мысли в порядок. А потом — в Зимний. К императору. К трупам, с которых начнётся длинная, запутанная история.

Я отошёл от окна и направился в свою комнату.

Глава 2 Немая симфония

Карета ждала у парадного подъезда ровно через час, как было условлено.

Я вышел из восточного крыла, на ходу застёгивая запонки — старая привычка, которую не вытравили даже годы бессмертия. Сюртук я сменил на чёрный фрак, более уместный для ночного визита в императорскую резиденцию. Галстук завязал без помощи слуги — белый, строгий, без щегольства. Волосы пригладил назад, смочив водой из кувшина. В зеркало не смотрелся — во-первых, оно висело слишком высоко: матушка их избегала, а во-вторых, я давно перестал нуждаться в подтверждении собственного существования.

Ночь стояла плотная, безлунная. Ветер нёс позёмку по каменным плитам подъездной аллеи. В воздухе пахло морозом, хвоей и далёким дымом — где-то на окраине Петербурга топили печи, и дым стелился над городом, как серое одеяло. Небо было низким, тяжёлым, будто набрякшим невыпавшим снегом.

У крыльца ждала простая, без гербов, тёмная карета. Кучер сидел на козлах, не оборачиваясь. Молчаливый, в высоком цилиндре, он был из тех старых слуг, которые знают, когда нужно задавать вопросы, а когда — притворяться глухим. Лошади переступали с ноги на ногу, и пар от их дыхания стелился по камням призрачным туманом.

Дмитрий уже был там.

Он стоял, привалившись плечом к дверце кареты. При моём появлении расплылся в той самой улыбке, которую я мысленно называл «гусарской» — нахальной, весёлой и чуть-чуть опасной, как бритва в рукаве. Фрак он всё-таки надел. Чёрный, строгий, облегающий плечи так, словно его не шили на заказ, а выращивали прямо на теле. Кончики небрежно завязанного белого галстука чуть развевались на сквозняке. Мундир исчез, эполеты тоже, но Дима и тут остался верен себе: к сапогам были пристёгнуты крошечные серебряные шпоры, и каждый его шаг — я слышал это ещё с крыльца — звучал тонким «дзынь».

— Не успел впасть в свой незабвенный философский бред? — спросил он вместо приветствия, вынимая изо рта пустую трубку и привычно жестикулируя ей. — Ах да, у тебя же был всего час. Какая досада.

— Трагедия в том, что ты всё-таки надел фрак, — ответил я, спускаясь по ступеням. — Я думал, что не доживу до этого дня.

— Я полон сюрпризов, mon cher. Как и подобает гусару. Матушка велела — я исполнил. Ты же хотел увидеть меня «вне расфуфыренных тканей»? Voilà! — Он повёл плечами, разминая ткань, и шпоры его отозвались мелодичным звоном. — Строг, элегантен, прекрасен. И слегка раздражён отсутствием эполет. Впрочем, шпоры при мне — а это главное.

— Ты забыл слово «скромен».

— Я не забыл. Я его проигнорировал. Скромность, Алексей, — удел живых. Им есть чего стесняться, — он кивнул в сторону кареты и добавил: — Прошу, ваше сиятельство. Только без обмороков по дороге. И помни: если я и буду молчать, то исключительно чтобы ты наслаждался моим обаятельным профилем в тишине.

Он открыл дверцу сам — лакея матушка не дала, «меньше глаз». Изнутри пахло кожей, ладаном и тем особым холодом, который не берёт даже тёплая грелка.

— Ну? — он чуть склонил голову. — Едем, философ? Или дать тебе ещё пять минут на созерцание луны?

— Луны нет.

— Тем более. Значит, ждать бессмысленно.

Я молча прошёл мимо и сел в карету, задвигая шторку на окне. Дима забрался следом, хлопнул дверцей — гулко, с тем особым звуком, который бывает только у старых, ещё екатери-

нинских карет, где дерево ссохлось, а обивка пропиталась временем. Он устроился напротив, вытянул ноги вперёд, задев шпорами мои сапоги.

— Извини, — сказал он, не извиняясь.

— Ты никогда не извиняешься.

— Я совершенствуюсь. Медленно, но верно.

Карета тронулась. Колёса мягко застучали по булыжной мостовой, и этот стук — мерный, убаюкивающий — заполнил тишину между нами.

Мы ехали через ночной Петербург. Отодвинув шторку на полпальца, я смотрел, как за окном проплывают тёмные фасады, заснеженные крыши и редкие масляные фонари, свет которых дрожал на ветру. Город казался вымершим — ни экипажей, ни прохожих, только где-то вдалеке лаяла собака, зло и надрывно, словно почуяла нечто, что ей не понравилось.

Дима сидел напротив, развалившись с ленивой грацией хищника, которого не кормили, но который не спешил. Он молчал дольше обычного, и это настораживало. Как правило, он комментировал всё подряд — погоду, дорогу, моё молчание, фасон собственных сапог, — но сейчас он был тих, и тишина эта казалась тяжелее любых слов.

— Дорогой мой Дмитрий Николаевич, — произнёс я, не отворачиваясь от окна, — смотрю, вы по-прежнему веселы и беззаботны. Может, столь радостны вы по той причине, что знаете, кто желает очернить имя матушки и её отроков?

Дима приподнял бровь. В полумраке кареты, при редких проблесках уличных фонарей, его лицо то появлялось, то исчезало — резкое, восковое, с блестящими глазами, в которых отражался огонь невидимых свечей.

— Весел и беззаботен? — он прижал руку к груди театральным жестом. — Ах, mon frère, ты меня обижаешь. Я — сама скорбь. В весьма изящном исполнении.

Он замолчал на секунду, глядя в зашторенное окно, будто пытаюсь разглядеть что-то сквозь тёмную ткань. Потом перевёл взгляд на меня — уже без усмешки. Что-то в его лице изменилось, стало жёстче, острее.

— А вот что касается того, кто это устроил — голос его стал тише, почти мурлыкающим. — Я бы соврал, если бы сказал, что знаю. Но я не люблю врать. Только недоговаривать.

Он наклонился вперёд, опираясь локтями на колени. Расстояние между нами сократилось. Снаружи кареты проплывали тени домов, и в их мелькании лицо Димы казалось вырезанным из старой кости — то освещённым, то погружённым во тьму.

— Однако есть у меня одна мысль. И она тебе не понравится.

Я перевёл взгляд на него.

— Ты помнишь, что было пять лет назад? В Москве. Те двое — брат и сестра. Особняк на Тверской.

Я помнил. Картина стояла перед глазами до сих пор: анфилада комнат, выстуженный воздух, запах ладана и смерти. Два тела на полу — мужчина и женщина, высушенные, как осенние листья. Остекленевшие взгляды. Умиrotворённые лица. Матушка тогда осмотрела их, поджала губы и велела забыть.

— Не наши, — повторил я её слова вслух.

— Именно, — Дима откинулся на сиденье и заложил руку за голову. — Не наши. А потом велела забыть. Я, знаешь ли, плохо забываю. Особенно когда кто-то делает нашу работу чище и быстрее. Это либо конкурент, — он сделал паузу, и в ней повисло что-то невысказанное, — либо кто-то из своих.

Он смотрел на меня исподлобья, спокойно и тяжело, и под этим взглядом мне стало холодно — хотя холод для меня давно уже стал привычным состоянием.

— Ты думаешь о Гаврииле, — сказал я.

— А ты нет?

Я промолчал. Карета качнулась на ухабе, и шпоры Димы жалобно звякнули.

— В империи нет больше родов, подобных нам, — проговорил я, глядя в щель между шторками на проплывающие мимо дома. — А если бы столь грязные дела совершал кто-то из наших, матушка бы знала об этом. Мы связаны кровью, и без её ведома вздоха сделать не смеем.

Дима молчал несколько долгих ударов сердца. Карета покачивалась, где-то снаружи раздался крик ночного извозчика — «Пади!» — и снова тишина.

— Связаны кровью, — повторил он тихо, без обычной своей издёвки. — Да, матушка чувствует каждого из нас — как пальцы на одной руке. А мы чувствуем её.

Он тоже посмотрел в щель шторы, но не на улицу — на моё отражение. На мой профиль, освещённый луной, которая наконец показалась из-за туч. На мою сжатую челюсть. На глаза, которые смотрели куда угодно, только не на него.

— Но ты не ответил, Алексей, — голос Дмитрия стал вязким, почти ласковым. — Я спросил: согласен ли ты со мной? Или ты боишься назвать имя вслух? Боишься, что матушка услышит не ушами, а вот здесь, — он коснулся пальцем собственного виска, — и тогда начнётся чистка?

Он открыл штору шире, и луна залила карету холодным, мертвенным светом. Дмитрий теперь был виден весь — бледный, с чёрными кругами под глазами, которых не скрыть никаким фраком. С резкими тенями на скулах. С неестественно неподвижными губами, на которых застыла полуулыбка.

— Гавриил, — произнёс он раздельно, почти по слогам. — Старший. Тот, кого матушка называет «моя первая ошибка». Он в Петербурге? Или мы опять будем верить, что он в Сибири, в своей добровольной ссылке, молится Богу, которого сто лет как проклял?

Дима не усмехался. Он смотрел — жёстко, выжидающе.

— Ну же, философ. Скажи мне, что я неправ. Скажи — и я поверю. Я всегда тебе верю, даже когда ты врёшь.

Карета замедлилась. Где-то впереди — застава, голоса, лязг оружия. Зимний дворец был близко.

Мой взгляд медленно, неохотно оторвался от луны, пробежал по чёрной ткани занавески, по бледной коже Дмитрия и остановился, встретившись с его взглядом. Я молчал. Гавриил — тот, кого матушка называла своим первым. Так давно, что никто не помнил даже примерных дат. Тот, чья связь с нами настолько истончилась, что мы чувствовали лишь блёклый след где-то на краю сознания, как туманное пятно, почти неощутимое. Я видел его лишь раз, и эта встреча осталась во мне вкусом мостовой грязи, болью в рёбрах и ногтями, сломанными о его каменное лицо.

— Не скажу, что ты неправ, — произнёс я наконец, и голос мой прозвучал твёрже, чем мне хотелось бы. — Но и не могу не верить словам матушки: она говорит, что он в Сибири.

Дима медленно, очень медленно кивнул. Его лицо в лунном свете — маска без возраста: ни морщин, ни румянца. Только глаза живут, и в них сейчас что-то тяжёлое и вместе с тем почти нежное.

— Вот так, — сказал он тихо. — Честно. Ты не веришь, но хочешь верить. Это я понимаю. Это я уважаю.

Он откинулся на спинку сиденья, но взгляд не отвёл. Шпоры звякнули при движении — тонко, почти по-детски.

— Гавриил — произнёс он имя, пробуя его на вкус, словно старое вино, которое слишком долго пролежало в подвале. — Я видел его дважды. И второго раза хватило, чтобы понять: этот не умрёт никогда. Даже если матушка прикажет. Даже если мы все на него пойдём.

Он замолчал, и в тишине слышался только мерный стук копыт.

— Знаешь, что меня пугает? — спросил он вдруг почти шёпотом. — Не то, что он вернулся. Но, если это он я не знаю, смогу ли стрелять. Не потому, что боюсь. А потому, что он — первый. Словно в нём осталось что-то более древнее, чем в нас.

Он протянул руку и поправил мой галстук — бегло, привычно, будто делал это сотый раз. Пальцы его были холодными, но это был тот холод, который ощущается почти теплом. Я перехватил его запястье — не удержал, просто задержал на секунду. Дима вопросительно поднял бровь, но руку не отдернул. Так мы и сидели мгновение: его пальцы на моём галстуке, мои — на его запястье. Потом он хмыкнул и откинулся обратно.

— Но это мы узнаем потом. Сейчас — работа. Ты готов, братец? Потому что за этой дверью, — он кивнул в сторону выхода, — нас ждут не трупы. Нас ждёт начало. А конец, как водится, напишем сами.

Кучер слез с козел. Дверца кареты чуть приоткрылась, впуская холодный воздух — с запахом Невы, дыма и сырого камня.

Мы вышли из кареты на просторную площадь перед Зимним. Ночной воздух здесь пах иначе — не хвоей и дымом, а рекой, мокрым камнем и казённым холодом императорской резиденции. Фасад дворца возвышался перед нами — тёмная громада, подсвеченная редкими огнями в окнах. Колонны, балюстрады, статуи на крыше — всё это казалось декорацией к спектаклю, который ещё не начался.

— Чёрный ход, — сказал я, оглядываясь.

— Разумно, — Дима поправил перчатки, окинув взглядом площадь с ленивой грацией хищника. — Парадные двери для живых, чёрные — для таких, как мы. Ирония, однако, вполне в нашем стиле.

Он нагнал меня в два шага, и мы пошли к служебному входу — узкой двери, обитой кожей, с тяжёлым засовом. Часовой, завидев нас, вытянулся и отдал честь — видимо, его предупредили. Внутри стояла тяжёлая тишина, липкая, как воск, и тот особый, казённый холод, который пробирает до костей в пустых дворцах по ночам.

Нас встретил молодой офицер — бледный, с покрасневшими глазами, явно не спавший уже сутки. Мундир его был застёгнут на все пуговицы, но воротник чуть сбит на сторону — единственная деталь, выдававшая его состояние. Он козырнул, глядя куда-то в пространство между нами, словно боялся смотреть прямо.

— Ваши сиятельства, — голос его сорвался на первой фразе, но он быстро взял себя в руки. — Прошу следовать за мной. Тела не переносили. По приказу Его Императорского Величества.

— Значит, нам предоставили право первого осмотра, — вполголоса прокомментировал Дима, пристраиваясь рядом. — Какая честь.

— Или какая ловушка, — ответил я так же тихо.

Офицер развернулся и зашагал по коридору быстро, почти бегом. Мы двинулись следом. Дима наклонился к моему уху, дыша холодом:

— Мальчик боится не нас. Хороший знак. Или очень плохой.

— Посмотрим.

Коридоры здесь были уже, чем в парадной части, потолки ниже, но всё равно — всюду лепнина, позолота, портреты в тяжёлых рамах. Императорская роскошь просачивалась даже в служебные переходы, как вода просачивается сквозь почву. Мы свернули несколько раз — мимо пустых караульных, мимо дверей, за которыми слышался храп, мимо лестниц, уводящих куда-то в подвалы, — и наконец вышли в тупиковый коридор, обшитый тёмным дубом.

Перед дверью стояли двое часовых. Лица каменные, но один из них был неестественно бледен, а второй чуть заметно подрагивал, хотя в коридоре не было холодно. Офицер достал ключ дрожащими руками. Замок щёлкнул. Дверь отворилась. И воздух изменился.

Первое, что я почувствовал, — запах. Густой, сладковатый, с привкусом железа и чего-то ещё, чего-то неправильного. Это не был обычный запах смерти — я знал его слишком хорошо, чтобы ошибиться. Здесь было что-то другое, что-то, от чего мой внутренний зверь — тот самый древний вампирский инстинкт, который дремал в глубине сознания, — вдруг поднял голову и замер вслушиваясь.

Комната — бывшая караульная — освещалась двумя масляными лампами на стенах. Свет их трепетал на сквозняке, бросая пляшущие тени на стены. Обстановка скучная: стол у стены, два стула с протёртой обивкой, шкаф для оружия, теперь пустой. На полу, на старом ковре с вытертым до основы ворсом, лежали тела.

Три тела. Они лежали не в ряд. Их бросили. Хотя нет, не бросили — разместили так, словно художник расставлял натурщиков для страшного полотна, продумывая каждую линию, каждый изгиб тела. Это было первое, что цепляло взгляд — не хаотичное падение, не предсмертные судороги, а продуманная, почти балетная композиция. От этого становилось тревожнее, чем от самих тел.

— Господи Иисусе, — пробормотал за моей спиной Дима. — Это не убийство. Это инсталляция.

Я ничего не ответил. Вместо этого подошёл к первому телу и опустился на корточки.

Первый — посыльный в синем мундире, лицом вниз. Руки его были вывернуты под неестественным углом, кисти — чёрные, сморщенные, будто пролежавшие месяц в болоте, хотя с момента смерти прошло всего две ночи. Я осторожно, взяв за плечи, перевернул его на спину — тело было лёгким, неестественно лёгким, как пустая оболочка. Лицо, обращённое к потолку, оказалось спокойным. Спокойнее, чем у спящего. Веки сомкнуты. Уголки губ чуть приподняты — он улыбался, когда умирал.

Я расстегнул воротник его мундира. Ткань отошла с сухим треском. На шее — россыпь укусов. Мелкие, частые, одинаковые. Я насчитал не меньше дюжины, от ключицы до уха. Кожа вокруг них была сухой, как пергамент, но не воспалённой — ни красноты, ни отёка.

— Один вампир, — сказал я. — Следы одинаковые. Расстояние между клыками — чуть меньше дюйма. И лёгкий изгиб влево. Это как почерк. У смерти вообще красивый почерк. Аккуратный. Разборчивый. Только адресата никогда не угадаешь.

— Почерк, — повторил Дима. Он обошёл комнату по периметру, заглядывая в углы, в пустой шкаф, в щели между панелями. — Значит, один каллиграф. И три добровольных читателя.

— Взгляни на ноги.

Дима приблизился ко второму телу — мальчишке, почти кадету, откинутому навзничь. Глаза его были открыты и смотрели в потолок — но радужка выцвела до молочной белизны, будто кто-то выпил не только кровь, но и сам цвет. Я поднял его руку — лёгкую, почти невесомую. Под ногтями была грязь, но не та, что бывает, если человек ползёт или сопротивляется. Нет — ровные, параллельные бороздки на досках пола говорили о другом. Он царапал ритмично. словно сопровождал музыку, которую никто, кроме него, не слышал.

— Они не боялись, — тихо произнёс Дима.

— Не просто не боялись. Они отдавали.

Я поднялся и подошёл к третьему телу — тому, что сидело у стены. Оно казалось куклой: голова запрокинута, рот открыт, на подбородке — засохшая полоска слюны. И на шее — следы. Не два прокола, как у нас обычно. Целая россыпь — мелкие, частые, будто кто-то пил не спеша, смакуя, меняя место укуса снова и снова.

Я наклонился и расслабил воротник мундира. Здесь укусов было больше — россыпь покрывала шею от уха до самой ключицы, уходя под край ткани. Но все они были те же: аккуратные, чистые, одинаковые. Я провёл пальцами над ранами, не касаясь их, и уловил тот самый запах — металлический, пряный, древний. Зверь внутри меня снова шевельнулся.

— Странно, — сказал я.

— Что? — Дима тут же оказался рядом.

— Запах. Ты чувствуешь? Это не просто старая кровь. Это что-то другое. Я знаю этот запах, но не могу вспомнить, откуда.

Дима склонился ниже, почти касаясь носом шеи мертвеца. Его лицо осталось бесстрастным, но ноздри дрогнули.

— Пахнет как старые деньги, — сказал он. — Или как склеп, который не открывали лет сто. Но, согласен, — он выпрямился и посмотрел мне в глаза, — что-то в нём есть знакомое. Это не Гавриил. У Гавриила запах другой.

— Ты уверен?

— Я помню его запах, Алексей. Мокрый камень и прелые листья. А это — он помолчал, подбирая слово. — Это как ладан в заброшенной церкви. Древний. Очень древний.

Мы замолчали, глядя друг на друга. Я пытался ухватить ускользающее воспоминание — где я чувствовал этот запах раньше. Он был связан с чем-то важным, с чем-то, что я знал, но не хотел знать. И он явно был ближе к нашему роду, чем к чужому.

— Ни крови, — сказал вдруг Дима севшим до хрипоты голосом. — Ни страха. Ни пота. Они умерли спокойно? Нет, не спокойно.

Он выпрямился, повернулся ко мне. В жёлтом свете ламп его лицо казалось восковой маской. После короткой паузы он продолжил:

— Они отдали. Понимаешь? Они сами отдали — с радостью, как на свидании.

— Да, — сказал я. — Я это уже понял.

— И тебе не страшно?

— Мне сто лет, Дима. Я забыл, что такое страх.

— Врёшь.

Я промолчал. Он был прав — я врал. Страх был. Но не тот животный ужас, который испытывают смертные перед смертью. А другой — глубинный, древний. Тот самый, который просыпается, когда ты чуешь рядом другого хищника. Более сильного. Или более старого.

— Алексей, — Дима вдруг взял меня за руку, холодными пальцами сжал запястье, — кто бы это ни был, он не просто пил. Он брал что-то ещё. Душу? Волю? Не знаю. Но это не наш метод. Это даже не метод Гавриила. Это

Он замолчал. Где-то далеко, в глубине дворца, пробили часы — три удара. И в этой тишине, подведённой под бой часов, я услышал то, чего не слышал раньше: шаги. Множественные, тяжёлые, с металлическим лязгом. Гвардейцы. Или кто-то похуже.

Дверь за спиной Димы приоткрылась. Офицер, что привёл нас, просунул голову в щель:

— Ваши сиятельства Его Императорское Величество ожидает. Но

— Но? — Дима резко обернулся, и офицер вздрогнул.

— Он не один. С ним граф Милорадович.

Повисла пауза. Густая, вязкая, как предгрозового воздуха. Я смотрел на Диму, Дима смотрел на меня. Граф Михаил Андреевич Милорадович. Герой Очакова. Любимец гвардии. Человек, которого хоронили с воинскими почестями три дня назад.

— Милорадович, — повторил Дима одними губами. — Которого похоронили в субботу.

Он улыбнулся — но улыбка эта была не весёлой. Она была опасной. Той самой, которую я видел перед самыми скверными его выходками.

— Какая прелесть. Мы ещё даже не начали, а у нас уже конкуренция. Ну, философ, давай посмотрим, что за театр нам приготовили на этот раз.

Он поправил галстук, одёрнул манжеты и направился к двери. На ходу прокрутил пустую трубку в пальцах, потом ловко, одним движением, сунул её в карман — жест, отточенный до автоматизма.

— Значит, будем танцевать, господа. Вальс с покойником — это, доложу я вам, *quelque chose de nouveau*. Что-то новенькое.

— Стой.

Дима замер на полушаге. Медленно обернулся.

Я стянул перчатки — медленно, палец за пальцем, — и положил их на край стола. Запах древней крови всё ещё стоял в воздухе, пряный и неуловимый, как старая мелодия, которую никак не можешь назвать.

— Ты останешься здесь, — сказал я.

— Что?

— За дверь. Жди снаружи и не вмешивайся, что бы ты ни услышал.

Лицо Димы дрогнуло. Маска веселья треснула на мгновение, и под ней мелькнуло что-то острое, почти злое.

— Ты хочешь, чтобы я стоял под дверью как лакей? Пока ты будешь беседовать с императором и ходячим покойником?

— Именно.

— Алексей

— Дима, — я посмотрел ему в глаза — прямо, спокойно, без вызова. — Если там ловушка, я хочу, чтобы ты был снаружи. Если меня попытаются задержать, ты услышишь. Твои уши острее, чем у любого гвардейца в этом дворце. И твоя реакция быстрее. Мне нужно, чтобы ты был снаружи и мог действовать, а не сидел под прицелом вместе со мной.

Он замолчал. Посмотрел на меня долгим, пристальным взглядом, в котором смешались досада, уважение и что-то ещё, что он не хотел показывать.

— Ты рассуждаешь как стратег, — сказал он наконец. — Это раздражает.

— Я рассуждаю как твой брат.

— Ах, — он театрально вздохнул, но глаза остались серьёзными, — вот, значит, как. Бьёшь по самому больному. Низкий приём, *mon cher*.

Он отступил на шаг, скрестил руки на груди и привалился плечом к дверному косяку. Вынул из кармана пустую трубку, сунул в зубы и кивнул на дверь.

— Хорошо. Иди. Но если через десять минут ты не выйдешь, я эту дверь вынесу. Вместе с петлями.

— Десять минут, — согласился я. — Засекай.

— Уже засёк.

Он вдруг шагнул ко мне — стремительно, по-гусарски — и на мгновение прижался лбом к моему лбу. Жест быстрый, почти неуловимый. От него пахло кожей и табаком, которого он никогда не курил. Дима отстранился, хлопнул меня по плечу — всё с той же гусарской небрежностью, но я заметил, как дрогнули его пальцы.

— Иди уже, философ. А то я начну думать, что ты специально тянешь время, чтобы побыть со мной подольше.

— Может, и так.

Он улыбнулся — на этот раз без привычной насмешки:

— Тогда возвращайся быстрее. У нас впереди ещё много поводов побыть вместе.

Я молча кивнул и вышел в коридор. Часовые проводили меня настороженными взглядами. Офицер, всё ещё бледный, засеменил впереди, уводя меня прочь от караульной. За моей спиной раздавался тихий, мелодичный звон шпор — Дима оттолкнулся от косяка и занял позицию у двери.

Я не обернулся. Знал, что он стоит там — прямой, неподвижный, с пустой трубкой в зубах и холодным огнём в глазах.

Офицер вёл меня через анфиладу парадных коридоров — теперь уже с высокими потолками, золочёной лепниной и портретами императоров в тяжёлых рамах. Екатерина смотрела

на меня с холста надменно и чуть насмешливо. Павел — подозрительно и мрачно. Александр, ныне покойный, был изображён в профиль, и его бледное лицо казалось в полумраке лицом призрака.

Я шёл один, без Дмитрия. И в этой давящей тишине каждый мой шаг отдавался в висках.

Наконец офицер остановился перед высокой дверью с золочёными ручками, обитой зелёным сукном. Часовые по бокам вытянулись, глядя прямо перед собой.

— Его Императорское Величество ожидает вас, — произнёс он и отступил в сторону.

Я взялся за ручку — холодную и гладкую. За моей спиной, на другом конце коридора, остался Дима. Я представил его — привалившимся к косяку, с трубкой в зубах, отсчитывающим в уме минуты. И от этой картины стало спокойнее.

Я толкнул дверь.

Гостиная была небольшая, зелёная, с камином, который горел ярко, но почти не давал тепла. На каминной полке — часы в бронзовом корпусе, показывающие половину четвёртого утра. У стола в креслах сидели двое.

Первый — император Николай Павлович. Молодой, бледный, с синевой под глазами, которая говорила о бессонной ночи так же красноречиво, как смятый сюртук и недопитый стакан чая. Он поднялся при моём появлении — резко, нервно — и прошёлся взглядом по мне, потом почему-то за мою спину, в пустоту коридора.

Второй сидел у камина, положив ногу на ногу, и курил длинную трубку. Мундир, расшитый золотом, ордена на груди. Кудрявые волосы, орлиный нос, тот самый профиль, который я видел на гравюрах сотни раз. И глаза — стеклянные, без зрачков, в которых не отражался огонь камина. Граф Михаил Андреевич Милорадович — собственной персоной.

Он повернул голову к двери — медленно, с сухим хрустом шейных позвонков, какой бывает у старых кукол. И улыбнулся — уголок рта поднялся слишком высоко, неестественно, как у марионетки, которую дёргают за нитку.

— Князь Алексей Сергеевич, — пропел он, и голос его — звонкий, командный, но с механическим присвистом — резанул по нервам. — А где же ваш вечно весёлый братец, Дмитрий Николаевич? Я слышал его шпоры. Он что же, боится войти?

Я остановился посреди комнаты. Расправил плечи. Посмотрел сначала на Милорадовича, потом — на императора.

— Мой брат остался за дверью, — сказал я ровно. — По моему приказу. И он войдёт сюда только в том случае, если я сочту это необходимым.

Николай Павлович приподнял бровь. Милорадович перестал улыбаться.

— Вы дерзки, князь, — произнёс император, но в голосе его промелькнуло что-то похожее на уважение. — Впрочем, я этого ожидал. Садитесь.

Я не сел. Остался стоять, глядя на Милорадовича в упор. Его стеклянные глаза буравили меня в ответ, и в них медленно разгоралось что-то живое, хищное.

— Что ж, — произнёс я, и мой голос прозвучал ровно, даже скучающе, хотя внутри всё звенело от напряжения. — Приятно познакомиться, труп.

В камине провалилось полено. Искры взметнулись к потолку.

Глава 3 Граф и Глина

Полено в камине провалилось с тихим шипением, словно кто-то выдохнул сквозь зубы. Искры взметнулись и погасли, а граф Милорадович всё смотрел на меня, не моргая. Улыбка его сползла не сразу — она таяла, как воск, стекающий с оплывающей свечи, обнажая под собой что-то жёсткое, неприятное. Что-то, что пряталось за маской светского труппа.

— Дерзкий мальчишка, — произнёс он наконец, и голос его утратил прежнюю звонкость, стал глуше, с присвистом, будто воздух проходил через щель в старых мехах. — Помню-помню вас, князь. Ещё при Павле вас не было. А я уже брал Очаков. Я уже стоял под пулями, когда вы...

— Лежали в гробу? — подсказал я. — Да, мне говорили. Три дня назад. Как вам там, кстати, понравилось?

Милорадович подался вперёд. Движение это было странным, кукольным — будто невидимая рука дёрнула его за шиворот. Пальцы, сжимавшие трубку, хрустнули. Я заметил, что суставы у него посинели, как у мертвеца, пролежавшего ночь на морозе. Впрочем, почему «как»?

— Щенок, — прошипел он. — Ты не имеешь права...

— Имею, — я не повысил голоса, смотрел ему в глаза — в эти стеклянные, без зрачков, глаза, в которых не отражался огонь камина, но отражалось что-то другое. Страх? Нет. Скорее, голод.

— Вы явились в императорский дворец после собственных похорон, граф. Вы обвиняете мой род в убийствах, которых мы не совершали. И вы смеете говорить о правах?

— Господа! — голос императора хлестнул, как удар плети.

Я обернулся. Николай Павлович стоял у стола, выпрямившись, и лицо его было белым, как накрахмаленный воротник. Желваки на скулах ходили ходуном. Он переводил взгляд с меня на Милорадовича и обратно, и в этом взгляде плескалось что-то, чего я не ожидал увидеть у монарха: растерянность.

— Я позвал вас, — произнёс он, чеканя каждое слово, — чтобы вы нашли убийцу. Не для того, чтобы вы грызлись между собой, как дворовые псы. Князь Волконский, — он шагнул ко мне, — вы утверждаете, что ваш род не причастен. Граф утверждает обратное. У меня три трупа в караульной и ни одной зацепки. Я желаю знать правду. И я желаю знать её сейчас.

— Правду? — переспросил я. — Извольте.

Я повернулся к Милорадовичу, который застыл в кресле, как изваяние. Его трубка погасла, но он всё ещё держал её в зубах. Дым из потухшего чубука тонкой струйкой выползал на подбородок.

— Граф, — сказал я, — вы предлагаете императору свои услуги. Вы обвиняете мой род. Очень хорошо. Тогда ответьте мне на один вопрос: кто вас обратил?

В комнате повисла тишина. Такая плотная, что я слышал, как потрескивает воск в масляной лампе на каминной полке.

Милорадович не двигался. Его лицо — серое, с чёрными прожилками под глазами — напоминало старую фреску, с которой осыпается штукатурка.

— Я не обязан отвечать, — выдавил он наконец.

Я уверенно шагнул к нему.

— Обязаны. Вы находитесь в императорском дворце. И обвиняете род Волконских в преступлении. Вы — ходячий мертвец, который встал из могилы три дня назад. У вас нет прав. У вас есть только обязанность отвечать на мои вопросы.

Я наклонился ближе, так, чтобы видеть каждую трещинку на его коже, синяки на шее — чёрные, с металлическим отливом, неестественные, как рисунок серебряной краской.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.